

ПОХОЖЕ, она решила выступить в трудной роли «терминатора» и завершить наконец бытовую линию в отечественной литературе, все последующее обрекая на незавидное положение эпигонства.

Писательница на протяжении последних десятилетий оставалась бескорыстно преданной этой линии и в своей драматургии, долгое время не допускаясь до сцены, и в своей прозе, вышедшей отдельной книжечкой с символическим названием «Бессмертная любовь» лишь в 1988 году. И не удивительно, что именно она точно почувствовала тупик, куда вот-вот готова упереться современная художественная «бытология». Не потому ли каждое новое ее сочинение, будь то антиутопия «Новый Робинзон», фантазмагория «Песни восточных славян» или совсем свежая повесть «Время ночь», — как межевой столб? Конечно, можно и дальше работать в этом же русле, и дальше копать, но уже в тени Петрушевской — это раз, и это, безусловно, триумф писательницы; а во-вторых, просто длить и длить этот тупик до бесконечности, не чая из него выбраться.

В самом деле, в образ (читай: базобразие) нашей повседневной «житухи» всякий автор просто считает своим долгом добавить хоть один, но какой-нибудь весьма колоритный штрих, чтобы потрясти и без того запуганного и травмированного читателя. Понятно, что писатель концентрирует, сгущает, заостряет и т. п. Но тенденция тоже вполне очевидна: чем мрачнее и жестче, тем лучше. Тем как бы правдивее. Дескать: хватит! Достаточно уже прятаться от ужасов жизни, стараясь не замечать их вокруг себя, получим же теперь в избытке!

Впрочем, читателя теперь тоже не проймешь — закалились за последнее время. Криминальную хронику, как и «Вести», смотрим регулярно. Да и литература подбрасывает. Так что для соответствующего эффекта дозу нужно постоянно увеличивать, иначе читатель просто останется равнодушен. Покруче опитания, позабористей сюжеты...

Л. Петрушевская и тут нашла свой, другими как будто не опробованный жанр, вроде бы и в рамках «натуральной школы», и вместе с тем выламывающийся из них — «случай» из цикла «Песни восточных славян». Неприятельные рассказы о разных невероятных историях, где роль повествователя, всегда очень важная и стилистически сложная в прозе Петрушевской, кажется сведенной к минимуму, но зато всю боуует стихия «черного юмора» с натуралистической жутью описаний, как кто кого прирезал (муж жену) или хотел отравить (соседка соседского ребенка), с житейской мистикой, сентиментальностью, абсурдом и т. п. Городской фольклор, проекция подсознательных страхов и ночных кошмаров, черпающих свой материал, увя, из реальной действительности. Своего рода «психопатология быденной жизни», если вспомнить название известной работы З. Фрейда.

Тексты писательницы, подобно двудиному Янусу, обращены как в сторону реальной жизни, так и в сторону словесности, к которой у Петрушевской свой счет. Собственно, демонстративный антиэстетизм и вызывающая натуралистичность последних ее вещей — не только попытка преодолеть «среднеиную» беллетристичность, но и горький ответ на вечный романтизм и идеализм литературы, чьи великие обольщения никак не сочетаются с обычной непричесанной жизнью.

Такое впечатление, что писательница стремится довести до последнего предела близкую ей тенденцию, поставить последнюю точку, тем самым как бы отменяя и литературу вообще. В новых своих вещах она вплотную подходит

к той грани, за которой литература кончается. В сущности, мы уже наблюдаем в них ее агонию. Агонию, которая хочет предстать агонией самой жизни.

ПОВЕСТЬ «Время ночь» выросла из драматургии и рассказов Петрушевской, подобрала основные мотивы ее творчества. Она должна была появиться, потому что не могла не появиться. Этого требовала не только внутренняя логика творчества самой писательницы, но и логика движения современной прозы последних десятилетий. Что же там вырисовывается, во мраке ночи?

А вырисовывается то, что видит героиня повести, она же и рассказчица, непризнанная поэтесса Анна Андриановна, одинокая мать семейства, на которую безмужья дочь спихнула пол-

муж за Пьера Безухова. Вот он, апофеоз живой жизни, апофеоз быта и счастливой семейственности!

Ну, а как насчет костей? В финале чеховского «Вишневого сада» за сценой слышны удары топора о дерево. Также, прямо скажем, невесело, но опять же не так, как при костедробильной поступи судьбы у Петрушевской. Тут не лирически грустно, тут — тоскливо и страшно.

Нет, стихами в повести не пахнет. Но зато сора, из которого они растут, как известно, не ведая стыда, полная мера. Его столько, что немудрено захлебнуться. До стихов ли? «...Эх кому мы будем нужны на старость, так вот в говне и лежит бабуля, эх пошли подмоем ее, неси судно и квац, я кувшином полью вся опять обмаралась эх, кости да кожа, а, а, а, ведь рожала бабуля, все ви-

Евгений ШКЛОВСКИЙ

Косая ЖИЗНЬ

Петрушевская против Петрушевской

ностью внука, а норовит и второго или даже, может, и третьего, хотя та и без того еле-еле перебивается на случайные заработки от выступлений и ответов на письма в какой-то редакции да еще на пенсию собственной матери, которая в психиатрической больнице с шизофренией. Впрочем, есть еще и сингуловник, недавно вернувшийся из тюрьмы, тот тоже из матери деньги тянет, пьет с корешами, работать не хочет, жена его гонит, а куда ему еще податься, кроме как к матери родной, под ее теплое крылышко, на ее квадратные метры. Только и это не все. Теперь вот и мать Анны Андриановны вдруг (или не вдруг) решают перевести из больницы в интернат для психонормоз, жаль ее, пусть лучше домой — только откуда силы-то на все?

Куда ни кинь, всюду клин. Полный мрак и беспросветность. Жизнь наваливается так, что человеку из-под нее не вывернуться. Он только стонет под ее нестерпимой тяжестью, хватая широко раскрытым ртом воздух да бьется в иступлении и истерике, а сделать все равно ничего не может.

Петрушевская ниже и ниже «детальки» — все это нищенское, жалкое, грубое, неприглядное исподнее жизни, заклещивающее человека, подобно петле, трагически неотменимое, как «леденящие душу удары» соседки Нюры, которая по ночам дробит кости на суп детям. «Кормить нечем, она пустые кости где-то достает детям. Потом сутки вываривает, делает холодец, молодец».

Это граф Лев Толстой мог поэтизировать пеленку с желтым вместо зеленого пятном, с которой является к собравшимся близким восхитительная Наташа Ростова, благополучно вышедшая за-

сит, отстает, надясь ту подмывала что-то под ней дежит, матка выпала...»

Вот вам правда, а эстетику прочь, прочь Толстого, хватит уже этого литературного флера, всей этой слюнявой сусальности! Тут не сор, тут — сюр! Реальность такова, а мы ее, серопеленую, все укутываем в разноцветные одежды.

Да впрямь ли такова? Похоже, что так воспринимает реальность именно литературный взгляд, раз и навсегда уязвленное эстетическое чувство. Тут глаз сам порождает сор, душа сама из себя его выносит, свой испуг перед жизнью превращая в нескончаемый скандал, а цинизм — в способ самозащиты.

Перед очередным выступлением забегали со случайной попутчицей в туалет переодеться, «она там задрала юбку и стала снимать с себя шерстяные рейтузы и осталась в шерстяных колготках, мелькнуло обтянутое брюхо и жирное лоно». Мелькнуло, но было сразу замечено, словно глаз бдитительно сторожил момент, чтобы тут же вслед за этим выплеснуть на нас давно вызревший, выношенный и, допуская, выстраданный пафос: «Ужас, до чего мы не ведаем своего безобразия и часто предстаем перед людьми в опасном виде, то есть толстые, обзисшие, грязные, опомнитесь, люди! Вы похожи на насекомых, а требуете любви...» и т. д. и т. п.

Однако именно обкатанность, расфасованность этого пафоса и смущает. Он как бы оправдывает цинизм, эстетическое подавление действительности и человека на том, что в них жирно и отвисло, топорщится и трепыхается, смердит и вываливается... Какая тут любовь?!

У СТИВЕНА КИНГА есть роман, где героиня, маленькая девочка, наделена способностью телекинеза и азглядом может воспламенять предметы, чем и пользуется для отмщения своим обидчикам. Многие героини Петрушевской, от лица которых ведется повествование, нередко тоже обладают сходной способностью — испепелять. Только разрушитель их взгляд не для физических предметов, а... для человеческих связей. Этот взгляд по-соколиному зорок и целко, словно острыми когтями, впиивается в детали человеческого неблагообразия, делая их объектом пересуда. Отстраненный, жуковато-пронзительный взгляд, в сущности, сходящий человека к этим деталям — к перхоти на плечах, безволосой бледной груди или стираному бинтику.

Вроде бы разоблачение и обличение, а на самом деле — самоутверждение: вижу чужую слабость или недостаток, а значит, уже имею некоторую преимущество, значит, сам защищен. Это — бойцовский взгляд человека, для которого жизнь — вечная борьба и война и он инстинктивно уже ищет в окружающих уязвимые места, а находя, торжествует в ощущении собственной силы и чуть ли не праведности. В костедробильном пафосе своей правоты.

Ох, эта правота, судящая налево и направо! Так ведь и в «Уроках музыки» заботливые родители, радея о своем великозростном отпрыске, одну девочку судорожно от него отпихивают, другую сами ему в постель укладывают — устраивают ему семейное счастье. Их тоже можно понять: за ними опыт, житейская мудрость, они как лучше хотят. Только жизнь-то все равно выходит косая.

Оказывается, не только благими намерениями, но и празотой дорога в ад вымощена. Ее даже и мостить не надо. Вот он, рядом. Только надлежащим образом настроить оптику. Тогда и «жирное лоно» тут как тут, и дерьмо по горло, и все что угодно. Ну и, разумеется, пафос — как спасательный круг, чтобы в том же самом не захлебнуться. Чтобы в этом аду своей воинственной правотой выгородить себе иллюзорную спасительную нишу.

Но Петрушевская не в осуждение своим мающимся героиням пишет. Напротив, с сочувствием. Да и с каких горних высот нужно зреть, чтобы остаться равнодушным, тем более осудить — строго и непреклонно? Ведь в каких невысказанных тисках бьются, и все с мукой, все с самоказнью!

И сами они про себя достаточно знают — и героиня «Своего круга», скандализующая своих приятелей и приятельниц, и та же Анна Андриановна из повести «Время ночь», как бы перехватывающая жесткое критическое авторское слово в свой адрес. Это она про другую женщину говорит, но и про себя тоже, хотя в голосе ее столько же упоения, сколько и надрыва: «Тут она ворвалась и все перезернула, умница, женщина с жаждой разрушения, они многое создают! Разрушится, глянь, но все зеленеет что-то разрушительное тоже, как-то по костям себя собирает и жигет, это мой случай, это просто я, просто я, я тоже такова для других». Умри, но лучше не скажешь!

Созидание и разрушение в жизни этой героини Петрушевской и многих других, в нашей общей жизни с отстязаемыми насмерть правотой и правдой, сплавлены настолько неразъемно, что пойдя отдели. Так что виноватых лучше не искать, потому как у каждого найдется свое опраздательное «во благо» и, естественно, свое представление о благе. И тут уж точно из ада не выбраться, так и будем кипеть в празедном гневе.

Сам Петрушевская готова, кажется, испепелить всю эту тленную муть, унижающую человека и оскорбляю-

щую эстетическое чувство, беря под защиту лишь самое главное — «бессмертную любовь», сколь бы иронично ни звучало это словосочетание в контексте ее творчества.

Не потому ли к природе Петрушевская тоже не очень благоволит? Да и с чего бы, если именно та обрекает на унижение? Писательница ее в упор не видит вместе со своими героинями — ни голубого неба, ни клейких листочков... Для нее она та же литература — «одни обманки, зовущие к жизни и обещающие нездешнюю полноту, а собирающиеся на деле — «вздущимися жилами», кровавыми «лоскутьями», «слабыми костями» и прочим. «О обманщица природа! О великая! Зачем-то ей нужны эти страдания, этот ужас, кровь, вонь, пот, слезы, судороги, любовь, насилие, боль, бессонные ночи, тяжелый труд, вроде чтобы все было хорошо! Ан нет, и все плохо опять».

Ни красоты, ни радости... А если и была красота, то что осталось? Тут больше, чем обман. Тут — предательство! Сплошные «сети и ловушки», если вспомнить заглавие одного из рассказов. И бессмертная любовь — почти всегда косая, нескладная, на любовь как бы и не похожая. С ней трудно, но и без нее, в одиночестве, в душевной пустоте, худо.

Ну, а в итоге? В итоге — «...они, мужчины, как верстовые столбы. Работы и мужчины, а по детям хронология, как у Чехова. Пошло выглядит все, однако же что не выглядит пошло со стороны?»

Пожалуй, тут-то и кроется главный парадокс творчества Петрушевской. Ведь почти в каждом ее рассказе повествование — именно со стороны. Выполненное искусно как обычный кулуарный треп, ни на что особенно не претендующий, повествование кружит, пускаясь то в одном направлении, то в другом, то в третьем, снова возвращается назад, слепо тычется в разные стороны, наворачивая вроде бы совершенно необязательные подробности.

В голосе повествователя у Петрушевской обычно звучат разные голоса, сплетаются и перекрещиваются различные точки зрения и мнения, словно мы имеем дело с неким коллективным рассказчиком, который только так и может увидеть — со стороны. В их сплетении, сочувствующих, равнодушных или осуждающих, но именно сторонних, собственно, и возникает образ — героев или чьей-нибудь «темной судьбы».

В том-то и суть, что мы — несомненно, благодаря автору — чувствуем несовпадение и даже далекость этих взглядов извне от оставшейся скрытой душевной жизни героев. Душа — мыкающаяся, страдающая, взывающая о помощи или просто жаждущая понимания, участия и тепла — все равно ускользает. Она — когда вместе с автором, когда вопреки ему — обнаруживает несостоятельность, приближенность любой «смотровой площадки».

В СУЩНОСТИ, Петрушевская опервергает Петрушевскую.

Если со стороны, особливо с эстетической, то тогда точно — мерзость и мука! Тогда вообще непонятно, как можно выдержать и, главное, зачем? А если вспомнить, что все-таки не только вонь, пот и судороги, не только верстовые столбы и хронология, но еще и чуть-чуть души вложено, чуть-чуть, ну хоть самая малая толика любви, пусть даже не бессмертной, то, может, она и косая, наша жизнь, но — не напрасная. Может, и не сладкая, но — не пустая.

Как говорится, чем богаты...

мч